

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ

Так почему же все-таки Мандельштам?

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ



ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ВСЕ-ТАКИ МАНДЕЛЬШТАМ?

...Первые побеги
девственного леса,
который покрывает место
современных городов.

О. М.

Я начну с двух недоказуемых предпосылок.

Во-первых, канонизация Мандельштама произошла при нас, на нашей памяти. Даже любители его поэзии из старших поколений удивлялись, покачивали головой. Эх же вы, однако; а у нас он был — *“мраморная муха”*, *“ужас друзей — Златозуб”*. Тон благорасположенных мемуаристов — и у этого чудака бывали, подумать только, замечательные строчки. (Даже у Ахматовой ощущается в ее поздней записи 1963 года некоторая оторопь перед отношением к Мандельштаму именно младших.)

В пылу энтузиазма с проблемами старших разделались не в меру легко. Здесь, так сказать, prvton yeudsV, изначальная погрешность. Ведь мы все прошли через престранный первый опыт знакомства с О. М. — *“замечательно, но местами как-то уж очень идиотично”*, а потом постарались для вхождения в political correctness мандельштамизма это все позабыть, по Фрейду — вытеснить. И вот всё расплачиваемся за такую неправдивость и никак не расплатимся, в поте лица отыскивая ответы на некорректно поставленные вопросы. Культура, историософия, ух!

“Мандельштам. Осточертел. Пыжится. Выкурил все мои папиросы. Ущемлен и уязвлен. Посмешище всекоктебельское” (Ходасевич — Б. А. Диатропову от 18 июля 1916 года из Коктебеля). “Знаете ли. Мандельштам не умен <...> Ну какой он поэт?” (он же — С. Я. Парнок от 22 июля того же года). А Ходасевич умен. Он вправду умен — но ему не под силу быть **умнее собственного ума**. А для Мандельштама способность вдруг подскакивать неизмеримо выше своего штандпункта и всех своих границ, которые есть у каждого умника, — совершенно нормальна.

Во-вторых, канонизация эта имеет (при всех разговорах о большой четверке) тенденцию к исключительности. О. М. — рядом с Пушкиным.

О. М. и Пушкин. Совершенно не могу найти у них предыстории, поры незрелости — а как длинна таковая у Ходасевича или Цветаевой; и еще менее того умею отличать у них строчки получше от строчек поплоче. Их обоим приходится — не без удивления, но послушно — принимать сразу, в полном объеме и на их собственных условиях. Помню, как дружественный любитель О. М. сказал мне в моей молодости: “Сережа, „Когда октябрьский нам готовил временщик...” — очень неудачные стихи”. Вроде бы я понимал, что он хотел сказать. Но разве это правда? Стихи смешноватые, не без того, — но ведь так близки к несомненному и вершинному совершенству “Декабриста”. А если они по нормам самого О. М. скорее хороши — кто мне докажет, что худо какое-нибудь “*В белом раю лежит богатырь...*”? И у Пушкина интонационный антиклимакс раздражавших Цветаеву строк “*...И счастлив тот, кто средь волненья / Их обрести и ведать мог...*”, наверное, нужен после непреодолимого нарастания в строках предыдущих, а значит, не хуже их. Пушкину виднее.

(У других поэтов мы различаем стихотворения сильные и слабые, удавшиеся и неудавшиеся. Кажется, для О. М. вопрос приходится ставить иначе: стихи необходимые и те, которых, пожалуй, могло бы и не быть, причем первые — это почти всё, а выделение второй категории не может не быть исключительно субъективным. Я, по правде говоря, не решусь назвать ни единого примера, потому что не готов обосновывать свой выбор.)

Именно у поэтов “чистых”, как Пушкин и О. М., которые не имеют внепоэтической серьезности, особенно отчетливо ощущается основоположный для всех вообще поэтов грамматический контраст между **несовершенным видом**, характеризующим жизнь как обывательщину, все, что бывает, *пока не требует поэта...*, и **совершенным видом**, необходимым для акцентировки окончательности строки. Отсюда — общее между творчеством и гибелью: то и другое есть переход от несовершенного вида к совершенному, от ддящегося проживания к дефинитивному поступку или хотя бы событию. “*Погулял ты, человек, по Щербакову переулку, поплевал на нехорошие татарские мясные, повисел на трамвайных поручнях, поездил в Гатчину к другу Сережке, походил в баньку и в цирк Чинизелли; пожил ты, человек, — и довольно!*” Поэтика заразна, совершенный вид подстерегает несовершенный на всех поворотах. И тогда получается дуэль с Дантесом или стихи против Сталина.

Выбрать Мандельштама — опасно. Слишком от многого приходится отказаться. Слишком многое становится рядом с ним невозможно. И это вроде бы даже нечестная игра, потому что сам он ни о чем таком не предупреждает. Он приглашал, да как риторично, к благодарности всем

поэтам, какие есть: по списку. Это ему откусывал голову в рецензии Ходасевич — между тем как из противоположного угла литературной сцены дразнились: “*мраморная муха*”; а он очень мило отзывался о Ходасевиче, а уж о Хлебникове просто слагал какой-то эпос под своего любимого Пшавелу. Так коллегиально.

Мандельштам мог позволить себе декларации вроде бы классицистские (“*революция в искусстве неизбежно приводит к классицизму...*”), и тут же — вроде бы авангардистские. Конечно, этими своими выходками он спровоцировал у своих почитателей уйму бестолковицы. Ведь и без него в сегодняшнем литературоведческом дискурсе все — авангардизм, и все, если придется, — неоклассицизм, понятия становятся негодными, ибо теряют границы, и неоклассицистские принципы того же Ходасевича вспоминаются с тоской, как укоризна замолкнувшей совести. У человека еще принципы были.

Но беспринципность, с которой выражался О. М., локализуется только в статьях, компенсируя, уравновешивая собой страшно жесткий выбор, совершающийся в эпицентре его же творческих катастроф. Поэзия у него круто противоположна и классицизму, и авангардизму, находясь в чрезвычайной близости и к тому, и к другому. *Слепая ласточка на крыльях срезанных вот-вот в чертог теней вернется* — но все-таки еще не вернулась; *яркая, нежная зелень* на улицах нищего Петербурга говорит о девственном лесе, *который покрое место современных городов*, — но покамест есть еще место *горожанину и другу горожан*, и старый мир *жив более, чем когда-либо*; и все уместается в единой точке на дистанции между грамматическими формами будущего и настоящего. Именно поэтому мандельштамовская поэзия сама собой исключает и то, что “справа” от нее, и то, что “слева”, — *вся нетерпимость*, как сказал поэт о *матушке филологии*. По контрасту с ней все неоклассическое, все, что хоть на миллиметр “правее”, выглядит уже непереносно, мучительно наивным. Даже серьезнейшие, суровейшие, мрачнейшие Блок и Ходасевич о чем-то все никак не догадывались, а когда непоправимая догадка под конец приходила — навсегда замолкали; между тем голос Мандельштама *после удушья* и начинал звучать, всякий раз вбирая в себя это удушье и одновременно ускользая от него. А умница Ходасевич еще хочет напугать читателя, с важностью повторяя про своего удушенника: “*И зорко, зорко, зорко / смотрел он на восток...*” Равным образом становится непереносимо все, что чуть-чуть левее Мандельштама, все, что — авангард; и это потому, что авангард, вопреки своему героическому имени, не имеет в себе достаточно риска, тонуса, напряжения. Прошу понять меня правильно: я не отрицаю, что героичен может быть авангардист или целое поколение таковых, я отрицаю героизм авангарда как принципа. В конечном счете он — не авангард, а **капитуляция**. Именно в качестве капитуляции он и вправду, в слишком даже буквальном смысле, **“безоговорочен”**. Его пресловутая “агрессивность” подменяет воинский дух, устраняет страшный риск формы — по Мандельштаму, “*неутомимой борьбы с бесформенной стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории*”, — позволяет уйти от этого риска. Даже великий Хлебников, колдовское юродство которого впрямь значительно, расплывается, растекается в своих “*ну, и так далее*”; а ведь это только почин, еще наделенный энергией почина, — только предзнаменование **нескончаемого конца**.

Ко мне прицепилась и не отпускает чуть смешная строчка:

Ведь и правда. Если бы не было жаль чудных мандельштамовских слов, можно было подставлять: вместо пресловутой *тоски по мировой культуре*, понимаемой на манер эрудитства какого-нибудь Элиота, — “с миром **культурным** я был лишь ребячески связан...”; вместо бесконечных разбирательств, где там у О. М. советских лет конформизм, а где так называемое сопротивление, — “с миром **советским...**”. Ну и так далее. Разумеется, словесно игра некрасивая, и затягивать ее не след. Но по смыслу — всегда выйдет так. *Ребячески*.

Как трогает сейчас, когда все привыкли делать понимающий вид при любом разговоре на тему “О. М. и культура”, выпад какого-нибудь Сергея Боброва против статьи “Слово и культура”: “*Ужасная безграмотщина... с задраным в небеса носом!*” Или злополучный Горнфельд, будущий мнимый злодей мандельштамовской жизненной пантомимы, так люто изругавший в “Парфеноне” ту же самую статью за компанию с андрей-беловской *глоссалолоией*, — ведь он по крайней мере расслышал, потрудился расслышать, что О. М. толкует о чем-то, *совершенно обратном эрудиции*, явно непохожем на конвенциональный роман с *мировой культурой*. Не студия языков культуры, а глоссолалия. “*...И всем и ему кажется, что он говорит по-гречески или по-халдейски*”, — сказано О. М. о поэте; чушь, возражает Горнфельд, кажется это лишь тому, кто ни бельмеса ни по-гречески, ни по-халдейски. Собственно, оба правы. Мало того, только существование некоторой ограниченной, школьной горнфельдовской правоты и способно сделать позицию О. М. содержательной, отделить восторг поэта, *пьянящего классическим вином*, от дешевого, ничем не оплаченного аханья гимназистки: “Ах, Пушкин, ах, Катулл!” Хитрый Вагнер ведь не только на посмешище вывел в “Мейстерзингерах” педанта Бекмессера. Нынче горнфельды-бекмессеры, хранители нудной школярской премудрости от дерзновенных покушений, перевелись; но точно ли пьяной глоссолалии поэтов стало от этого лучше? Границы размыты, выбора больше не требуется; ничто не мешает косить одновременно и под авангард, и под неоклассику. Когда О. М. делал выбор против того Пушкина, который был, в пользу того, которого не было, это были не просто слова, а вызов — ну, скажем, тому же Ходасевичу, ответственно и сурово избравшему Пушкина исторического.

Ребяческий характер связи О. М. со всевозможными политическими, конфессиональными и культурными “*величественными идеями, похожими на массивные тиары*”, будь то “*Россия на камне и крови*”, которую “*издалека благословляли столь разделенные между собой Хомяков и Киреевский и <...> Герцен*”; гражданственность эсеров, Третий Рим Тютчева и Недоброво или Третий Интернационал *четвертого сословия*, будь то священная держава или святая свобода, будь то католическая теократия по Чаадаеву или православные мечтания Карташева, будь то культурные утопии Вяч. Иванова или антиутопии Анненского, — *ребячество* это, так бесившее даже благорасположенных современников, и впрямь поражает. Будет худо, если мы перестанем его чувствовать.

“*На тризне милой тени / В последний раз нам музыка звучит*”. “*Все перепуталось и некому сказать*”. Обольщение возможностью посмертно пережить и воспеть сновидение теократии — также и в советское время. Ср.

письмо Вл. В. Гиппиусу от 14/27 апреля 1908 года: *“Первые мои религиозные переживания относятся к периоду моего детского увлечения марксистской догмой и неотделимы от этого увлечения”*. Эти же темы в главе “Эрфуртская программа” из “Шума времени”. Полемика на тему “О. М. и сталинизм”, недавно спровоцированная Гаспаровым, была бы содержательнее, если бы чаще переспрашивалось, что означали в идиосинкратичнейшем и одновременно универсальном мире О. М. — как любителя Леонтьева и т. п. — те или иные понятия; если бы 30-е годы были увидены в контексте всей мандельштамовской биографии, а также в контексте больших *глыб времени*, см. “В не по чину барственной шубе” из “Шума времени”.

Очень важна тема авторитарности схоластики как импульса для поэзии в “Разговоре о Данте”, VI: *“Поэма самой густолиственной своей стороной обращена к авторитету — она всего широкошумнее, всего концертнее именно тогда, когда ее голубит догмат, канон, твердое златоустово слово. Но вся беда в том, что в авторитете или, точнее, в авторитарности мы видим лишь застрахованность от ошибок и совсем не разбираемся в той грандиозной музыке доверчивости, доверия, тончайших, как альпийская радуга, нюансах вероятности и уверованья, которыми распоряжается Дант”*. Полная неуместность в контексте 1933-го похвал средневековому догмату (как и в контексте 1923 года — величавого проплывания тени Леонтьева под самый конец “Шума времени”) делает симптоматичность того и другого для понимания подлинного строя мыслей О. М. еще очевиднее.

Вышеупомянутое *ребячество* О. М. тем примечательнее, что, во-первых, не выдуманно “нарочно”, не шуточно, не пародийно; во-вторых, очевидным образом осознано; в-третьих, не менее очевидным образом табуировано для автобиографической разработки в поэзии. *Я забыл ненужное “я”*.

Например, о своем еврействе и различии, ставящем все державные темы в контекст острабяющий, парадоксальный и даже как бы пародийный, он в стихах говорить не станет. Никаких лирических деклараций к России по типу того же Ходасевича — именно я, инородец, *...сей язык, завещанный веками, храню лучше твоих слабых сынов, восемь томиков, не больше, и в них вся родина моя...* Далее везде, — скажем, для сегодняшнего дня калмык Бахыт Кенжеев, который в своей Канаде вникает, как реставратор, в утраченные subtilities старинного русского говора: *“Задвижку на окне нашарит...”*; тут этнические обстоятельства входят в замысел наравне с географическими или хронологическими. Так Лукиану, выучившемуся превосходить греков в чистоте аттической речи, приятно было лишний раз назвать себя *“Сирийцем”*. Но О. М. был не совсем таков.

В этой связи должен сознаться, что с величайшим недоверием смотрю на попытки моих коллег (и отчасти уже Надежды Яковлевны) извлечь из стихов О. М., например из “Канцоны”, ух какую разработанную “еврейскую тему”.

Еврейская тема — это для Зеева Жаботинского, не для О. М. Я понимаю еврейского патриота и почитателя Зеева, который огорченно, даже оскорбленно сказал мне о поэте: *“Что там, он от нас сбежал”*. С одной стороны, уж если кто *“не мальчик, но муж”*, так это Зеев, а Оська как раз выходит вечный мальчишка; но ведь с другой стороны, на фоне внутреннего

опыта поэзии О. М. Зеев со своим сионистским героизмом — наивное дитя. Если бы для О. М. все сводилось к тому, что нужно развеять псевдоморфозу ребяческой связи с миром державным, вспомнить о своей еврейской идентичности, высвободить еврейское ядро от гоёвской скорлупы... Всего-то.

В прозе — еще дело другое. Но функциональное размежевание между стихами и прозой “Шума времени” и “Египетской марки”¹, какая-то мандельштамовская диглоссия, — это феномен, о котором пока еще недостаточно говорили. Автобиографическая проза — порождение того самого *удушья*, которое ретроспективно отметит потом лирика: депрессивного перерыва, промежутка. В нее как раз уходит все то, чему сопротивляется и что **отторгает от себя** мандельштамовский стих. Это не продолжение поэзии другими средствами, а отсасывание из открывшихся ран поэзии смертельных для нее ядов. И недаром Цветаева так ярилась на мемуарный (антимемуарный!) труд О. М.: пожалуй, у нее были к тому основания и помимо политики (а также свойственного ей отсутствия склонности к юмору). “Шум времени” (как и “Египетская марка”) вправду содержит в себе некую (в контексте литературного пути О. М. — временную) капитуляцию, притом отнюдь не только “идеологическую”: предвещающая нынешний постмодернизм игра на понижение, банализация всех тем, усмешечка. Но дело не только в этом. “Еврейская тема”, как и вообще всякая постановка вопроса о собственной эмпирической идентичности (“Парнок”), подсказывала ложный ответ на вопрос о главном, то есть о дистанции между *миром державным* (соответственно *мировой культурой*) и моим “я”: просто-де вот я по случайности *жидочек*, как О. М. называли в кругу символистов, *племя чужое*, Парнок, отщепенец, а вообще-то все идет, как шло. Нет, в том-то и дело, что ни для кого оно не идет, как шло, шиш. *Все уменьшается. И Гёте тает...*

Почему, условно говоря, “О. М. как метод” правилен? Потому что нас со всех сторон бес ловит на слове и подсовывает ложные ситуации дихотомического выбора. — *Ах, ты этого не хочешь? — Ой, не хочу! — Так ты уже выбрал вон то! Всё, кончено!* — Возьмем хоть вопрос о мотивации гуманитарных штудий. Идеал *humanitas* предполагал, что рецитация наизусть классических стихов и тому подобные занятия “облагораживающе” действуют на человеческую природу: делают то ли “мягче”, то ли “тоньше”, то ли нравственнее, то ли понятливее, то ли свободнее — одним словом, человечнее, потому и зовется это все вместе *humaniora*... Пришли патриоты прошлого века с требованием службы культуры при деле изучения национального наследия, либералы с требованиями народолюбия, после большевики — это-де **нам** нужно, а то не нужно, смотрите, чтобы людям годилось, народу!

Однако, как во всякой лжи, здесь присутствовала же и правда: не дураки были древние греки, что говорили вместо культуры о *PAIDSIA*, то есть попросту о “*воспитании*”. Конечно, только уж очень наивным людям могло даже в наивные времена примерещиться, будто это воспитание благодравия, — а затем явились тоталитаризмы со своими воспитательными прожекторами, возведшими мертвое благодравие в небывалую, невиданную степень; но если мы в антиавторитарном задоре отменяем сам по себе императив воспитания, мы должны чувствовать, что крушим *позвоночник* культуры — ту вертикаль неравноправных ценностей, которою культура держится в состоянии прямохождения. И приходит — *пся-кровь, всетерпимость...*

“Блаженное, бессмысленное слово” — оно как раз достаточно бессмысленно, чтобы на слове невозможно было словить, однако и достаточно небессмысленно, чтобы хранить неостывшую память о словесности слова, о Логосе.

То и другое отмерено и выверено — до каких-то бесконечно малых.

Вена.

¹ Проза ранних статей вроде “Утра акмеизма”, а также “Разговор о Данте” при подобном размежевании оказывается на стороне стихов. Естественно, в обоих случаях она рождалась параллельно со стихами, и автобиографическая рефлексия в ней элиминирована.